

УДК 94(47):82-94
ББК 63.3(2)
Ш95



Фонд
ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВА

Издание подготовлено при финансовой поддержке
Фонда «История Отечества»

Издание печатается по рукописи из коллекции Государственного
архива Российской Федерации (Ф. Р-5974. Оп. 2. Д. 11а, 11б)

Составитель, научный редактор, автор вступительной статьи
и комментариев к. и. н., старший преподаватель Института
истории СПбГУ А. А. Чемакин

Рецензенты:

д. и. н., профессор А. А. Иванов (СПбГУ),
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой русской истории
А. Б. Николаев (РГПУ имени А. И. Герцена)

Шульгина Е. Г.

Ш95 Конспект моих политических переживаний (1903–1922) / предисл.,
коммент. А. А. Чемакина. — М.: Фонд «Связь Эпох», 2019. — 672 с.; ил. —
(Живая история)

ISBN 978-5-6042329-4-1

Воспоминания Екатерины Григорьевны Шульгиной были написаны в Праге в 1924 г. Будучи женой Василия Витальевича Шульгина, видного политика дореволюционной России, Е. Г. Шульгина имела возможность наблюдать с близкого расстояния многие важные события начала XX века: от Революции 1905–1907 гг. до Гражданской войны. В книге подробно рассказывается о членах семьи и знакомых автора, о деятельности газеты «Киевлянин», о подпольной работе белогвардейских организаций во время немецкой оккупации Украины. Один из центральных сюжетов публикации — гибель сына Шульгиной Василида в бою против петлюровцев. Описания обороны Киева в 1918 г. и заключения Е. Г. Шульгиной в тюрьме одесской ЧК в 1920 г. тесно связаны с такими литературными произведениями, как «Белая гвардия» М. А. Булгакова и «Уже написан Вертер» В. П. Катаева.

Книга предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся историей России.

УДК 94(47):82-94
ББК 63.3(2)

ISBN 978-5-6042329-4-1 © ФКУ «Государственный архив Российской Федерации», 2019
© Чемакин А. А., предисловие, комментарии, 2019
© Фонд «Связь Эпох», дизайн-макет, издание, 2019

ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА ШУЛЬГИНА И ЕЕ «КОНСПЕКТ»

Воспоминания Екатерины Григорьевны Шульгиной «Конспект моих политических переживаний (1903–1922)» были написаны в Праге в 1924 г. Будучи женой видного политика дореволюционной России Василия Витальевича Шульгина, Е. Г. Шульгина имела возможность наблюдать с близкого расстояния многие важные события начала XX в., начиная с революции 1905–1907 гг. и заканчивая Гражданской войной. Так как сам «Конспект» Екатерины Григорьевны носит во многом биографический характер, мы не будем пересказывать весь ее жизненный путь, остановившись лишь на нескольких сюжетах.

Екатерина Григорьевна Градовская родилась 13 (25) ноября 1869 г. в Санкт-Петербурге в семье писателя и публициста Григория Константиновича Градовского (1842–1915) и его жены Евгении Константиновны. Как отмечает Ольга Матич, внучатая племянница В. В. Шульгина, «Григорий Градовский, отец “тети Кати”, как называла ее моя мама, был известным публицистом, знал Толстого, Достоевского, Лескова; он печатался в шульгинском “Киевлянине”, где, скорее всего, и познакомился со своей женой Евгенией Поповой, сестрой матери В. В., Марии Константиновны. Градовский был либералом и, перебравшись в Петербург, прославился своим гражданским пафосом и борьбой

Разве Керенский не был «первым разговаривателем»?..

Желтый Лев, Серый и Капустный Зайцы были любимыми игрушками... но ведь говорить они не могли — и это было логично.

* * *

Были ли у Ляли какие-нибудь политические убеждения?

По-моему, у него ко всему и всем была одна любовь и жалость и не было никакой ненависти. Не было и не могло быть, неоткуда было ему их добыть, такого рода материал не имелся в его составе...

Он любил императора и никакого другого государя не желал, он носил национальные ленты и гордился своей Императорской Александровской гимназией с ее короной и вензелями, но он очень заинтересовался «украинским» языком, выучил его по газетам, накопил переводов и «Двенадцать» Блока¹⁹⁷ декламировал и по-русски, и по-украински. При виде «жовто-блакитного» знамени говорил:

— Приятно взглянуть на «рідний прапор»!

Приехав в Одессу, обронил афоризм:

— И поганая же лужа это Черное море, то ли дело наш Дніпро!

Киев иначе не называл, как «столица», и очень обижался, когда его не понимали.

Поступил добровольцем в денкинскую¹⁹⁸ армию и проделывал безумия, в рост стоя под пулеметным огнем, и говорил в то же время:

— Где вам, буржуйам, одолеть русскую народную армию...

Это — про красных...

Я с ужасом говорила ему:

— Ляля, да ты большевик, да еще с украинским креном!

А он улыбался своей неотразимой улыбкой, светлой, радостной, и только в сияющих глазах «страдающей газеты» таились печаль и какая-то бездонная дума.

Но будет... будет...

* * *

И да простят мне мое влюбленное воспоминание.

* * *

Настал «праздник свободы», и русские дети были оскорблены тем, что в нем участвовали все флаги: польские, еврейские, украинские и прочие, и не было только русского национального флага. Мои мальчики и Гриша Смаковский, их двоюродный брат, надели русские национальные ленты и демонстративно разъезжали на велосипедах по городу... «Украинцы» их останавливали и уверяли, что эти цвета можно носить только в Москве, а в Киеве нельзя.

Такие же чувства обиды испытывала и вся молодежь средней школы. Быстро сформировались союзы. Из них самыми крупными были Русский национальный союз, в котором видную роль играл «Шура» Вадков¹⁹⁹ из второй гимназии, мальчик очень вдумчивый и без склонностей к крайностям, и Конституционно-монархический союз учащейся молодежи²⁰⁰. Кажется, это была единственная организация, в это время открыто отстаивавшая монархический принцип. Во главе ее стояли братья Соколовы, мальчики удивительно упрямые и прямолинейные. Разговаривать с ними было истинным мучением. Переубедить их было почти невозможно. Они никак не хотели стать на ту точку зрения, что выкидывать сейчас монархический лозунг несвоевременно, что нужно строить организации национальные, не останавливаясь на формах правления, что прошлое, как бы оно ни было священо и дорого, остается прошлым, что надо соединять людей, а не разъединять, и потому стараться сглаживать партийные грани... В разговорах с ними я доходила иногда до неистовства и просто убегала от них или умоляла их пощадить мои силы и нервы и уйти... Так как «Киевлянин» был в моих руках, а без газеты ничего нельзя было сделать, то я принуждала их «слушаться», но это обходилось мне очень дорого.

Но должна сказать, что упрямство этих юных, но вполне сознательных монархистов, при этом отстаивавших

вавших «конституцию» во всей ее полноте, граничило и совпадало с героизмом и мученичеством. Старший из них, кажется, Владимир²⁰¹, был расстрелян большевиками в 1919 году, а младшего, Бориса²⁰², я видела в Одессе во время денкинской эвакуации в приемном покое для сыпнотифозных. Он также настойчиво требовал чего-то от докторов для привезенных им больных матери и сестры, как когда-то требовал от меня «конституционной монархии». Войдя в покой, я наткнулась на скандал. Какой-то молодой человек так скандалил, что доктор кричал на него и выгонял, вроде как кричала когда-то я... Молодой человек стоял спиной ко мне, но я его узнала или, вернее, угадала интуитивно, и когда, подойдя к нему и дотронувшись до его плеча, убедилась, что это действительно Борис Соколов, я сказала:

— Ну ясно, что, кроме вас, никто не мог так скандалить!..

Он мне страшно обрадовался, и на этот раз мне ничего не стоило призвать его к терпению и приличию в своих требованиях.

Мальчики обеих организаций постоянно бегали ко мне... С этой юной, самой горячей частью русской «общественности» у меня установился самый тесный контакт, я их не называла иначе, как «мои национальные дети» или «национальные мальчики». Звала их всех по уменьшительным именам и, кажется, была их признанным лидером.

Они волновались, обиженные и оскорбленные. В это время в Киеве очутилась команда французских летчиков. Молодежь решила устроить в их честь манифестацию, этим подчеркнуть верность России союзным обязательствам и, кстати, вынести русские национальные флаги.

Но вот именно это решение — вынести на улицу трехцветные флаги — и создало конфликт. «Революционеры» и «украинцы», хотя малочисленные, но сильные настроением дня, заявили, что в таком случае они выкинут флаги красные и «жовто-блакитные». Национальная молодежь доказывала, что манифестация патриотическая, общегосударственная, что красные флаги здесь ни при чем, так

как они не символ России, что в союзе с французами вся Россия, а не ее части и т. д. Но те ничего слушать не хотели. Становилось горячо, дело доходило чуть не до драки, и можно было ожидать, что вместо торжества может получиться кровавое столкновение. Я сказала Василечку и Ляле, которые по целым дням заседали в каких-то «комитетах», что пусть они исполняют свой долг, как его понимают, но что я буду на площади и разделю с ними их участь. В конце концов, под влиянием главным образом юнкерских училищ решено было нести только французские флаги. Флаг Лялиного класса шился у нас в доме. Это был стяг о двух древках из атласных полос, на нем надпись «Vive la France!»¹ желтым шелком. Вышивала моя мама — «Бу» моих мальчиков.

Утром я была на Софиевской площади, откуда должно было открыться шествие. «Киевлянин» рекламировал манифестацию²⁰³. Не помню, писал ли «Ежов» свои впечатления, но я их отчетливо помню. Был прелестный солнечный апрельский день, нежный и свежий. Мальчики были в темных гимнастерках. Со времени войны в старших классах гимназий преподавался военный строй. Ряды гимназистов строились наподобие юнкерских. Я была взволнована до слез красотой зрелища. У древней Софии, у киевских «кремля святых ворот», собрался этот юный цвет нации. Увы! — ему суждено было быть скошенному без расцвета... Это были обреченные, это была та дань революционному Молоху, которую должна была выплатить Россия. Тогда я этого не знала, но предчувствовала, быть может... Строились ряды темных изящных фигурок под французскими «революционными» знаменами, выкинутыми сто лет назад на западной оконечности Европы... Теперь они перекочевали на крайний восток ее... Вот первый оркестр начинает: «Оружием на солнце сверкая»²⁰⁴... подхватили другие... Проходят чужие гимназии, а вот и своя, родная... «Императорцы» с коронами на поясах и фуражках, с вензелями императора Александра Благословенного, того, который своей стойкостью

¹ «Да здравствует Франция!» (фр.)

и патриотизмом остановил революционный бег Наполеона, белым снегом засыпал красный огонь... Вот когда отомстила нам Франция... Вот когда зажгла кровавым огнем Москву, которая встретила ее пожаром... Заплатила пожаром за пожар! Ведь от 1789 года и до 1917-го мир жил под обаянием Великой французской революции... «Марсельеза» пленяла умы, сердца и воображение! Вот и сейчас играют ее бедные неосторожные русские мальчики; ах, вы еще не знаете, что это для вас марш смерти, ваш похоронный марш!

Вот Василек — он идет в строю своего 8-го класса, они особенно старательно подчеркивают свое юнкерство... мой дорогой мальчик, мой первенец, как хорошо, что ни ты, ни я еще не знаем твоей судьбы... и моей...

А вот и шестой класс — у знакомого во всех его подробностях стяга Ляля и его друг «Евгений Карлович». Они называют друг друга «конспиративными» именами: Арман и Луи, и не переходят на «ты»...

Ляля и «Евгений Карлович» одинакового роста — выше среднего, оба худенькие, стройные, только Ляля сгибает свои хрупкие плечи, оба с тонкими и правильными чертами лица...

Мы спускаемся по Владимирской и под прямым углом поворачиваем на Фундуклеевскую. Я стараюсь идти так, чтобы не упускать из вида ни Василечка, ни Ляли. Все «императорцы» надели национальные ленты, но обещание сдержано — никаких флагов, кроме французских, нет. В других гимназиях на многих тоже национальные эмблемы. Кажется, особенно много во второй, где учится Шура Вадков.

На углу Фундуклеевской и Крещатика из окна верхнего этажа над магазином Йиндржишека²⁰⁵ свешивается большой русский национальный флаг. Его выкинули чехи... О, чехи всегда были русскими патриотами! Мальчики, гимназия за гимназией, проходя мимо, приветствуют его... Прокатывается «ура!». Оркестры перехватывают друг у друга марши...

На Печерске около скакового ипподрома выстроены желтые горчичные ряды французов узкой ленточ-

кой... В нашей процессии участвовали и военные училища, а также чехословацкая группа. От лица чехословаков французов приветствует полковник Мамонтов²⁰⁶, начальник 1-го Чешского полка. Он великолепно говорит по-французски... Речи произносятся юнкерами, гимназистами... На меня сильное впечатление производит французская дисциплина. Вне строя солдаты обращаются со своими офицерами почти что фамильярно... Но в своей ответной речи французский начальник говорит: «Moi et mes hommes!»¹ — и, даже не оборачивая головы, жестом руки указывает на стоящие за ним ряды. В этом выражении, интонации, жесте не чувствуется и тени того подлизывания или стеснения, в котором стали упражняться некоторые русские офицеры со времени революции. Вне строя он обращается со своими «hommes» как человек с человеком, но в строю они его собственность, материал, отданный всецело в его распоряжение, часть его самого.

Все происходит очень красиво, все части дефилируют перед французами, которые все время отдают честь...

— Vive la France! — кричат русские.

— Vive la Russie! — раздается ответ...

Еще далеко до Брест-Литовского мира — нет, впрочем, всего несколько месяцев...

Но хорошо, что этого никто не знает, и эта минута красоты еще не искажена грядущим безобразием.

¹ «Я и мои люди!» (фр.)

Манифестация 30 апреля

Обида, нанесенная русскому флагу так, как ее восприняли русские дети 1917 года, продолжала жить в их сердцах, и мысль о том, что этот флаг должен пройти по улицам Киева, их не оставляла. Они решили устроить манифестацию с русскими знаменами.

В связи с этим поднялся шум в Киевском Совете солдатских и рабочих депутатов и в Объединении общественных организаций, заседавшем в Городской думе (я забыла, как точно назывался этот представительный орган, образовавшийся в первые дни революции).

«Киевлянин» предпринял целую работу в смысле «отбуждения» национального флага. Был напечатан ряд статей о том, что русский трехцветный флаг есть флаг национальный, а не специально монархический, тем более «романовский»... Людей пришлось учить с азбуки — до такой степени были смешаны понятия и заострены вопросы.

Манифестация готовилась, и о ней много говорили. Дети то и дело бегали ко мне и сообщали мне о ходе вещей. Я вела в «Киевлянине» кампанию и доказывала в ряде заметок²⁰⁷, что Совет рабочих и солдатских депутатов, защитник свободы, равенства и братства, никоим образом не может стеснять граждан в выборе своих эм-

блем, хотя бы вздумали вынести на улицу все цвета радуги. Наконец, Совет вынес резолюцию именно в этом духе. «Киевлянин» напечатал заметку с похвалой ему. Дескать, мы ничего другого и не ожидали от защитников «свободы»...

Дети заседали в университете, составив комитет из представителей и представительниц мужских и женских гимназий, они переговаривались с кадетским корпусом и военными училищами. Между тем шла подпочвенная работа в родительских комитетах и педагогических советах. Родители и гимназическое начальство чувствовали опасность манифестации. Я тоже ее чувствовала и прекрасно улавливала возмутительность того факта, что дети понесут эмблему, которую не решились вынести взрослые. Ставка на детей, на молодежь, которую так часто делала «революция» в то время, когда работала подпольно, была мне по своему существу отвратительна. Но дело зашло уже слишком далеко, и отвлечь детей от их решения не представлялось возможным, оставалось только руководить ими и стараться оберечь от опасности. Помню, что «кадетские» сферы собирались устраивать манифестацию с какими-то флагами цвета *fraise écrasée*ⁱ и *vert de mer*ⁱⁱ в противовес патриотической манифестации; но дети, по крайней мере, большая часть русских детей, жаждали подвига и риска. Я сразу их предупредила, что надписи на наших флагах могут быть только национального характера, но не политического, в особенности в смысле формы правления. Русский национальный союз, к которому принадлежал Вадков, сразу меня понял. В комитете этой учащейся молодежи видную роль играл некто студент Петров. О нем ходили разные толки, и я в нем окончательно не успела разобраться. Мне он казался подозрительным. Вадков, репетитором которого он состоял, за него ручался. Но меня предупреждали, что он вертится в Совете депутатов и что он провокатор.

ⁱ давленной земляники (*фр.*).

ⁱⁱ морской зелени (*фр.*).

Манифестация налаживалась, и приготовления шли полным ходом... Как-то вечером ко мне пришла депутация во главе с упомянутым Петровым в составе нескольких кадет и гимназистов. Они были очень взволнованы и в отчаянии объявили мне, что все готово, но нет денег, которые медленно собираются по гимназиям и, конечно, опоздают. Я вынула пятьсот рублей и сказала:

— У детей всех национальностей оказались деньги для национальных манифестаций. Не может быть, чтобы русские дети их не достали... Эти пятьсот рублей жертвует вам общество «Русь»...

Гимназисты и кадеты были в восторге — сумма превышала их ожидания.

Я очень всем этим волновалась, чувствуя свою ответственность... В нашей гимназии — Александровской — особенно патриотически настроенной, президиум родительского комитета был «левый» — это случилось потому, что никто друг друга не знал (комитет был учрежден в этой гимназии уже после революции), и когда выбиралось правление, организовавшиеся левые, по большей части адвокаты, провели свой список. Этот президиум вызвал старост и постарался внушить им, что трехцветный флаг — принадлежность «старого режима», что это эмблема позора России, насилия, что на нем «кровь и грязь»... Начальство гимназии со своей стороны оказало давление на учеников и даже слегка грозило, насколько можно было грозить в это время «подчиненным»... Большинство родителей просто боялось за детей (что я, как мать, вполне понимала). Положение мое было донельзя затруднительным... Я, помню, телефонировала накануне манифестации председателю нашего комитета Вакару, пробуя с ним сговориться, но он ответил мне с ледяной холодностью, что ученики Александровской гимназии обещали воздержаться от участия в манифестации. По этому поводу мне пришлось впоследствии выступить в родительском комитете, об этом скажу позже.

Накануне манифестации была к вечеру получена телеграмма из Петрограда от Временного правительства

с разъяснением по поводу трехцветных флагов. С этого флага снималось заклятие, и он признавался свободным от связи с монархией и Романовыми, поэтому не встречалось препятствий к тому, чтобы желающие граждане избрали его своей эмблемой. Кстати, объявлялось, что двуглавый орел (но только без корон) остается русским гербом.

Все это я утилизировала для небольшой передовой «Киевлянина» в день манифестации²⁰⁸.

«Киевская мысль» тоже заявила, что свободные граждане, желающие произвести манифестацию с избранными ими эмблемами, будут, конечно, приветствованы, как и другие, на улицах свободного Киева²⁰⁹.

Но в вечер перед манифестацией случилось еще другое. Появилось осложнение, сделавшее мое положение просто трагическим. Причиной его явились «соколята». К самому вечеру, так поздно, что я ничего не могла предпринять, ко мне явились устроители манифестации из Русского национального союза и сообщили, что, несмотря на все уговоры и просьбы, Конституционно-монархический кружок Соколовых намерен на одном из своих плакатов сделать надпись: «Конституционная монархия».

Конечно, это была бомба.

Мы употребили невероятные усилия, чтобы развязать трехцветный флаг с монархизмом, конечно, не потому, что монархизм был чем-то позорным, но потому, что момент нации требовалось поставить выше момента формы правления. Форма правления отныне должна была играть роль постольку, поскольку она является выражением и носителем национальных запросов и особенностей России. И вот несколько упрямых мальчиков в последнюю минуту срывают всю произведенную в этом направлении работу и опять вносят сумбур в умы и сердца.

Я прекрасно понимала, что вокруг манифестации и так клубятся страсти. Я чувствовала, что нужна только искра, чтобы они вспыхнули. Взрыв страстей в Киеве, в городе, близком к фронту... взрыв страстей, кото-

В комнату вошел какой-то человек в военной шинели...

— Ах, — сказал он, увидя нас... — Что за птицы? Надо зажечь свет, посмотреть, что за птицы?

Он несколько раз входил и выходил и каждый раз приговаривал:

— Да, да, надо посмотреть: что за птицы... какие такие птицы...

Наконец нас позвали в канцелярию...

— Какая досада, — сказал кто-то, чиновник или комиссар или канцелярист, не знаю, — вот только что подводы в Раздельную ушли... Всех, кто здесь был, отправили... Как же с вами теперь... разве сами подводу наймете, если деньги есть... Ну вот что, вы теперь ступайте ночевать, в любую хату зайдите — люди пустят, переночуете, а завтра утром приходите — я запишу вас...

Мы сказали, что наши все документы потеряны...

— Ну хорошо, завтра утром придете, тогда все...

Мы ушли, несколько менее запуганные, не ожидали такого милостивого обращения...

Алексей Никитич, расспросив кое-кого, завел нас в какую-то хату... Здесь нам поставили самовар, дали немного молока, Алексей Никитич где-то купил белого хлеба и сала — на царские, еще, кажется, достал творога...

Жарко была натоплена печь, и мы легли на полатах, испытывая чисто физическое блаженство, заснули как убитые...

Встали с рассветом, выпили чаю... с остатками вчерашней еды и тут обнаружили, что у нас мало мелких царских денег, слишком много отдали проводнику во вчерашней панике...

Приходилось экономничать...

Часов в десять пошли в канцелярию... Здесь записали наши имена...

— На регистрацию вам надо в Раздельную, там все разбирают... Если есть деньги, то можете нанять подводу на свой счет, а нет, придется ждать случая...

— А... в Одессу — нельзя?.. — закинула я удочку... очень робко...

— Как же в Одессу?.. Ведь у вас бумаг нет... без пропуска вас не пустят... В Раздельной пропуска выдают... Да и подводы в Одессу не найдете...

И он нам выдал какие-то бумажки для следования в Раздельную...

Но отправляться в Раздельную было для нас очень опасно... Мы слишком бросались в глаза... Оля была единственной девочкой в отряде. Дима тоже выделялся, кроме того, с нами была еще любимая собачка Виталия — Дезик, фокстерьер... Нас, наверное, все знают и могут выдать...

Алексей Никитич... отправился на розыски... Через некоторое время он вернулся и объявил, что есть крестьянин, который соглашается нас отвезти в Одессу, но хочет большие деньги... Вот придет его мать — тогда можно будет условиться.

Через некоторое время пришла видная, статная, осанистая женщина, еще не старая... Она держалась с необычайным достоинством. Начался торг. Она соглашалась отпустить с нами сына с подводой, он берет за доставку нас в Одессу на Привоз... Отсюда до Одессы считается верст восемьдесят-девятьсто... Выехать надо ночью, часа в 3–4, до рассвета лишь бы выбраться из Глиного, а там попадем в обоз подвод, идущих в Одессу, — теперь все ездят многолюдством, опасно одной подводой идти... много дурных людей бродит...

За подводой она хочет 3000 рублей. Часть из них царскими.

У нас была царская пятисотка.

Согласились так. Уезжая, мы отдадим ей эту пятисотку, а сыну в Одессе заплатим 2 с половиной тысячи керенками или «украинками».

— Как стемнеет, пришлю за вами сына — ночевать у меня будете...

Когда мы вошли в ее хату, на столе оказался огромный самовар, печь пылала, и она нас угостила таким ужином... Чего здесь не было — и картофель, жаренный на сале, и кныши с тыквой и творогом, и вертуты...

— Сердце у меня перевернулось, — говорила наша хозяйка, — когда я увидела, как вы этот ваш кусочек сала на четверых поделили...

Действительно, мы днем при ней съели наш последний кусочек сала... Больше мелких царских у нас не было, и до Одессы нам грозила голодовка... Остальные деньги были у меня в английской валюте...

Она дала нам белого хлеба и оставшееся угощение на дорогу. Это была какая-то очень властная и важная женщина: «старик» ее был у нее в послушании.

Мы проспали часа два-три и начали собираться... Дрожь от холода после нагретой хаты... стараясь соблюдать тишину еще в полной темноте, разместились на возу... с замирающим сердцем, пугаясь каждого шороха, лая собак, выбрались из деревни и вздохнули свободно, только когда очутились в поле...

Часа через два стало светать... и вдруг мне показалось, что на горизонте я вижу розовый глаз маяка... Это всходила Венера — я никогда не видела ее такой огромной... Уже совсем рассвело, когда мы подъезжали к Канделю... Совсем розовыми казались белые домики, и серый дым длинными, слегка извивающимися прядями уходил из труб в небо...

День обещал быть солнечным, но очень морозным. Таким он и оказался...

Жутко было проезжать через Кандель...

Да, восстанавливая в моей памяти речь «атамана разбойников», я пропустила в ней очень важное место. Говоря о том, что у них «не расстреливают и не грабят»... он прибавил:

— Тех только расстреливал, кто оружие не положит, сопротивление оказывает; вот здесь на берегу Днепра засели в кустах какие-то четыре мерзавца и палят из винтовок; ну да доберусь я до них, не уйдут, вот так — не помилую...

Когда он это произнес и сказал «четыре», мне так и представилось, что эти четыре: Василий Витальевич, Ляля, Виталий и Володя Лазаревский — разумеется, они не сдались, не бросили винтовок и теперь отстреливаются...

Об этом мы говорили дорогой с Натой, и больно болело сердце и рвалось туда, в эти кусты, где, быть может, скоро должна была разыгаться последняя трагическая борьба...

Но впоследствии оказалось, что наши «четверо» ушли за Стесселем в числе тех 52, которые за ним последовали...

* * *

Кандель напомнил нам пережитые здесь страшные часы боя... Тогда все улицы колонии были полны жужжащих пуль, ежеминутно рвались снаряды, на улице лежала умирающая лошадь, заливая все вокруг себя малиновой кровью... то и дело вносили новых залитых кровью раненых; и с ужасом останавливался на них взгляд, боясь встретить знакомые, любимые черты...

Все сразу встало в памяти... Мы боялись, что нас узнают, и тщательно прятали Дезика, выехали из колонии, и Дима узнал «поле сражения»... Здесь отбивали они большевицкие атаки и наступали перебежками... Вот на окраине деревни еще стоит наш броневик «Россия», принимавший участие в бою, вот домик-хатка, за которым укрывались Василий Витальевич и Димочка и откуда Боб брал на мушку большевиков, стреляя из Диминого карабина... Дима его заряжал и подавал отцу...

Вот у самой дороги лежит распростертый труп, раскинув руки крестом... Он совершенно обнаженный...

Дорога усеяна пулями...

Скорее бы выбраться из этих страшных мест!

Мы ехали целый день и страшно померзли. Закрывались рядом⁴³⁸, которое было на возу, но это мало помогало. Солнце ярко сияло, но, казалось, совсем не грело, его лучи только подчеркивали холод. По дороге заезжали в большое село, даже скорее местечко, и там кормили лошадей, стояли часа три. Самовара не могли заказать, так как не было мелких денег. Поэтому не согрелись как следует.

Совсем уже темнело, когда остановились на ночлег всего в 12 верстах от Одессы. Трудно было отыскать этот

ночлег, наконец нашли домик, куда нас пустили. Хозяева были полуинтеллигентные люди-хуторяне, дочь занималась шитьем и даже прежде учительствовала. Наш жалкий вид возбудил сожаления — оборванный Дима, в его обглоданной шинели, перевязанной марлей... Дорогой мы обгоняли странные фигуры, которые боязливо на нас оглядывались... Это были люди в крестьянском платье — женщины, повязанные платками, как деревенские бабы, но лица их, испуганные и бледные, выдавали их «происхождение» — это были нашего поля ягоды, ряженые, выменявшие у крестьян одежду... Все это пробиралось обратно в Одессу после румынской катастрофы...

Нас напоили чаем, накормили... Разбудили еще до света по нашей просьбе и утром дали хлеба и чаю. Часу в восьмом мы въехали в Одессу в ряду других подвод, направлявшихся на базары... Никаких застав, никаких опросов... Вот и Привоз... Мы останавливаемся у постоянного двора, поручаем детей Алексею Никитичу, просим его напоить их чаем и отправляемся раздобывать керенки, Ната идет к своей подруге детства, надеясь, что она согласится дать нам приют, а я иду разыскивать Мусю — жену, т. е. вдову Поля, которая не захотела идти с нами в поход, а решила пробраться обратно в Киев. Ей я отдала, уезжая, т. е. уходя, деньги, все в керенках, и теперь думала получить от нее часть обратно.

Но я не нахожу Муси на той квартире, где рассчитывала ее застать... И в недоумении и большом огорчении, задумавшись, иду куда глаза глядят по улице и вдруг за поворотом натыкаюсь на одну близкую знакомую... Она поражена и моим присутствием в Одессе, и в особенности моим видом... Я быстро рассказываю ей все происшедшее и говорю, что прежде всего мне необходимы деньги — 3000 керенками...

— Есть, есть у меня, идемте ко мне, я вам сейчас дам...

Она живет неподалеку... И вот через несколько минут я ухожу от нее с этими необходимыми мне маленькими квадратиками, зеленоватыми и красноватыми. Я еще ошеломлена и взволнована этой помощью Про-

видения, посланной мне в минуту отчаяния. Как часто думала я над этим загадочным законом «случайных» встреч...

В этой задумчивости и волнении я не замечаю номера дома, в котором только что была, ни названия улицы и, свернув за угол, соображаю, что, в сущности, ведь я не знаю адреса... Я поворачиваю назад, захожу в один дом, другой, похоже и не похоже, очевидно, я запуталась, к тому же я не знаю, под какой фамилией живет моя знакомая, и боюсь назвать ее настоящее имя; какой-то дворник подметает улицу, я обращаюсь к нему и начинаю что-то путано объяснять, он вдруг грубо толкает меня и кричит:

— Пошла, пошла — плетет еще...

Я поражена его грубостью, но вдруг мой взгляд падает на мои ноги в ботинках покойного Алексея Павловича, сплошь покрытых засохшей грязью, на подошву, свернутую в бок «вертугой». Я оглядываю мое пальто, очень элегантное, из дорогого черного сукна с черной плюшевой баской (в Киеве куда-то пропало мое черное драповое пальто, и мне пришлось выехать в этой нарядной вещи, в ней же я попала и в поход), теперь все сукно в пятнах, и к нему пристала солома, голова моя беспорядочно завязана белым вязаным шерстяным платком, тоже уже загрязненным, лицо грязное и посиневшее от холода, недавно Алексей Никитич утешал меня:

— Вас узнать невозможно!

И я, поняв психологию дворника, покорно обхожу его и направляюсь в обратный путь к Привозу.

Ната вернулась раньше меня и тоже достала денег. А главное, она нашла для нас приют. Ее подруга согласна дать нам убежище на некоторое время. Мы отдаем деньги нашему вознице, благодарим его, передаем поклон матери, даем немного денег Алексею Никитичу, которого не можем взять с собой, и прощаемся...

Сами не верим себе, что кончены все ужасы и что мы в относительной безопасности. Кто бывал в таких положениях, тот знает, что попасть в большой людной город — это все равно что укрыться в дремучем лесу...

Это так приятно после изоляции и выставки в деревнях и на степных дорогах.

И только больно-больно сжимается сердце, и слезы сразу выступают на глаза при мысли о том, что-то делается сейчас с нашей «четверкой»...

Мы намечаем маршрут, Ната объясняет мне, как найти квартиру... Мы разделяемся и разными путями идем туда — она с Олей, я с Димой...

Первые минуты я чувствую большую неловкость с хозяйкой квартиры. Дело в том, что я уговорила Нату не давать ей моего настоящего имени. В случае если я попадусь, мои хозяева будут действительно правы, утверждая, что не знали, кого принимают. Могут сказать, что я их обманула. Ната сказала, что я ее институтская подруга, с которой она случайно встретилась. Но уже через четверть часа моего пребывания я почувствовала, что из этого плана ничего не выйдет, и выдала мое инкогнито:

— Да ведь я вас сейчас же узнала, — сказала Зинаида Сергеевна, — я видела вас на свадьбе Наты и только в толк не могла взять, для чего Натке нужно было уверять меня, что вы — Широкова...

И тут сразу стало удобно и уютно...

Нам отвели отдельную комнату, которая была сдава, но еще не занята квартирантом, правда, эта комната не отапливалась, но что это для нас значило после всего перенесенного... Нам устроили мытье, нагрели теплой воды, мы переоделись и очистились, все снятое с нас было изолировано и вынесено в холодную кладовку... Мы съели все запасы, имевшиеся в доме, даже фарш для пирожков. Зинаида Сергеевна пекла пирожки и продавала их служащим одного советского учреждения. Семья состояла из мужа, жены, дочери-курсистки и сына, бывшего в добровольческих войсках и оставшегося дома вследствие только что перенесенного возвратного тифа.

На ночь для нас собрали столько теплых покрывал, сколько имелось в доме...

Деньги у нас пока были — я начала продажу моих фунтов. Зато у нас абсолютно не было никаких вещей, ни даже перемены белья... Зинаида Сергеевна дала мне свое бе-

лье, а Диме — белье своего сына, чтобы переодеться... Затем нам подарили — с разных сторон — кто чулки, кто рубашку, но, в общем, мы были нищими... Абсолютно ничего, только моя сумочка для денег, уцелевшая в руках. Положение Наты было немного лучше... Когда мы уходили с отрядом, ее два чемодана и какие-то подушки и одеяла не уместились на подводу, и ей пришлось их оставить у знакомого швейцара. Тогда она была в отчаянии, а теперь они ей пригодились. Она тоже кое-что уделила Диме и мне.

Но главной заботой было прежде всего получение хоть какого-нибудь вида на жительство и подыскание жилья для Димы и меня... Комната, где мы находились, была, как я говорила, сдана; Ната с Олей могли здесь остаться — в комнате при кухне, вообще Ната была дружна с хозяйкой с детства и своим человеком в семье. Мне же приходилось думать о квартире.

Были разные планы. Но, в конце концов, Зинаида Сергеевна дала мне паспорт своего двоюродного брата, киевского врача (которого я, между прочим, знала). Прибыв в Одессу, этот врач заболел сыпным тифом здесь же, в квартире Зинаиды Сергеевны, и умер в одном из одесских госпиталей. В этом паспорте была прописана его жена — Марья Григорьевна. Я получила этот паспорт в мое распоряжение и превратилась из Елены Георгиевны, как уже привыкли меня называть за несколько дней, в Марью Григорьевну.

Но что было делать с Димой?

Я вспомнила, что Лина перед отъездом, думая, что, может быть, не успеет выехать, поместила Ваню, своего сына, в одну из одесских гимназий под именем Ивана Бойникова. Я знала начальника этой гимназии, отправилась к нему, и он мне выдал удостоверение в том, что Иван Бойников 14 лет состоит учеником такой-то одесской гимназии. Это было все-таки что-то...

Таким образом, Дима из моего сына превратился в племянника, сына моей умершей сестры, с детства отданного мне на воспитание.

Я отправилась к моим дальним родственникам на противоположную окраину города, где никогда не бы-

вала. В период, предшествовавший походу, я не успела их навестить, но Ната с Виталием там побывали, и потому адрес их был известен.

Здесь меня приняли по-родственному и хотя с жутью, но тотчас же предложили комнату.

Мы переехали, т. е. перешли с Димочкой... Вещей у нас было немного, Ната подарила нам две подушечки и одеяло, да еще набрали какого-то хлама. С миру по нитке.

Не успели мы с Димочкой устроиться и обжиться (вернулись мы в Одессу 8 февраля утром) — а это было в самом конце февраля или в самом начале марта, — вдруг приходит сын Зинаиды Сергеевны, тоже Ваня (но не фальшивый, а настоящий), и вызывает меня в переднюю. Он начинает что-то говорить мне и произносит: «Василий Витальевич»...

Я как безумная хватаю его за руку и начинаю кричать:
— Что?! что?!

— Да успокойтесь, ради Бога, все прекрасно, все живы — Василий Витальевич, Ляля, все у нас...

Не помню, что я делала, говорила, кажется, бросилась ему на шею, душила в объятиях... не давала ничего ему путем рассказать, расспрашивала и не могла выслушать...

Одним словом, наконец выяснилось, что Василий Витальевич, и Ляля, и Виталий — все у них на квартире, но что Василий Витальевич тяжело болен и Ляля тоже болен, но не так тяжело... Ваня прислал за мной...

Я сейчас же собралась, метаясь из угла в угол, из комнаты в комнату... Димочку я поручила моим родственникам. Как бедному мальчику хотелось пойти со мной! Я сказала ему, чтобы он зашел на другое утро...

И мы пошли по длинным улицам Одессы, казавшимся в тот вечер (уже стемнело) бесконечными... Дорогой я возбужденно расспрашивала, благодарила Бога, чуть не молилась вслух...

Ваня вел меня под руку...

И вот я в той самой комнате, где мы жили все четверо по приезде...

Теперь это лазарет — на одной кровати лежит Василий Витальевич, у него на исходе первый пароксизм возвратного тифа, дело идет к кризису, t около 41°.

На другой кровати Ляля, у него t выше 39°, но он пароксизм только что начинает... Сияют мне навстречу его нежные, прелестные глаза, и раздаются звуки милого голоса, слабого, как будто придавленного...

— Му, сядь около меня, я все тебе расскажу...

* * *

После я часто говорила, что такие встречи бывали только в старинных французских мелодрамах... В оркестре tremolo⁴³⁹ дамы в ложах падают в истерике, навеки разлученные соединяются...

* * *

Этот уход за тяжелобольными в нетопленной комнате при отсутствии белья... Во время кризисов больные обливаются испариной, я снимала рубашки, высушивала, опять надевала... В моем распоряжении было одно пикейное одеяло. Я его снимала с одного и покрывала другого, смотря по надобности... Несчастный Василий Витальевич по прошествии кризиса умолял дать ему чего-нибудь горячего, чаю мне не на чем было согреть...

Несчастные Лялины ноги были совершенно отморожены — боялись, что отпадут пальцы, в начале пальцы так гноились и издавали такой запах, что было страшно их развязывать... Я каждый день их перевязывала, заворачивала в компрессы из камфарного масла и плакала над ними...

Но мало-помалу я достала все существенно необходимое... все мне дали добрые люди... у меня оказалась керосинка, я могла на ней готовить незатейливые блюда, кипятить воду... Доктор, лечивший моих больных, оказался благодетелем... Чего он [только] не приносил нам: и вино, и белье, и лекарства, и мне, видя, что я сплю в кресле, достал кровать... о каком-нибудь гонораре и заикнуться нельзя было... В это время, именно в это время, я узнала всю красоту людей... Я постигла, что значит это прекрасное сло-

лишь бы скрыться из глаз, ускользнуть, потонуть в человеческих струях людного города, уйти от этих мест и даже во сне их никогда не увидеть...

Мы волочим наши узлы. Не успели их связать как следует, нести неудобно, они разваливаются. А вещей набралось довольно много. Софья Евгеньевна захватила с собой побольше теплого, боясь, что девочки мерзнут... Соня и Таня оставили нам в наследство все, что могли, — муфты, горжетки. Соничка оставила свой свѣтер¹, серый, который носила все время в Чека. Софья Евгеньевна подарила его мне, и я носила его целый год. Целый год я чувствовала на себе Соничкину оболочку. Вообще весь этот год я была одета исключительно в унаследованные мной от моих девочек вещи.

Танины горжетка и муфта приехали со мной на Волынь. А Соничкин свѣтер я, уезжая из Киева, «отдала обратно». Его должны были через Красный Крест отправить заключенным в Чека. Правда, к этому времени он был совершенно сношен, но там рады каждой теплой тряпке и за модами не следят.

Мы шли с Софьей Евгеньевной долго, под конец едва передвигая ноги, слабость сказывалась, идти было далеко — на другой конец города. К тому же было очень холодно, мороз довольно значительный.

Увы! Дома мы застали то, от чего ушли: чекистскую физиономию. У нас все еще оставалась «засада» для изловления лиц, бывших с нами в связи. Это продолжалось целую неделю. Впрочем, мы и всего-то прожили с Софьей Евгеньевной в этой квартире дней десять.

Впоследствии мы узнали, что и Вера Юрьевна, и Б[лажевич], и даже моя тетя заходили к нам, но всем удалось выпутаться благополучно, и они только набрались страху, но в Чека не попали.

Веру Юрьевну у нас чекисты просто прогнали, узнав, что она пришла «давать урок». Зато у Леночки, куда она направилась от нас, она «влипла». Приехал какой-то чекист экзаменовывать ее по французскому языку, действи-

тельно ли она может давать уроки. Вера Юрьевна блестяще сдала экзамен, а так как чекист был несилён, онаправляла его ошибки и сказала ему:

— Вот видите, вы бы могли у меня брать уроки!

Ее отпустили...

Не помню, как выпутался Б[лажевич]. Он принес как раз царские деньги. Их он засунул в кресло. Потом мы их нашли, и я отнесла их к Д., который дал нужные для покупки лодки — царские.

Д. не попался, так как его предупредили о засаде. В этом же доме жили общие знакомые, его и мои. Танино появление во дворе произвело шум, и о засаде и аресте стало всем известно.

По счастью, за время нашего заключения покупка лодки и отъезд Володи и Б[лажевич]а благополучно состоялись. Вместо меня уехал генерал — отец Тани и Сони.

Софья Евгеньевна и я вздохнули свободно, когда узнали об этом, — это была наша главная тревога!...

* * *

Здесь я должна рассказать о том, чего рассказывать мне даже не хотелось бы. Обе наши хозяйки были освобождены вместе с нами. И пришли домой чуть-чуть раньше нас. И вот тут начались причитания над убытками, которые они понесли, над здоровьем, которое они подорвали, над тем нравственным потрясением, которое пережили... У них пропали какие-то вещи. Чекисты съели у них сало и другие запасы. Все это высчитывалось и ставилось на вид Софье Евгеньевне, причем все говорилось ей прямо в лицо, без всякой пощады, без какой-нибудь жалости к ее горю... Я помню, как одна из этих особ, вообще более походившая на переодетого мужчину, чем на женщину, сказала о Тане, обращаясь к ее матери:

— Вот что наделали песни твои!

Они бранили несчастных девочек и просто гнали Софью Евгеньевну с квартиры, требовали, чтобы она съеха-

¹ Так в рукописи.

¹ Далее зачеркнуто предложение, написанное с красной строки: «Последнее желание Сонички».

ла немедленно, одним словом, ели поедом, как это умеют делать женщины. Софья Евгеньевна все это выносила кротко и покорно, и брань, и упреки оставляла без ответа. Да и в самом деле, могли ли эти уколы злых насекомых что-нибудь прибавить к ее великому и святому горю? Что были эти неприятности в сравнении с тем, что она переживала?

Временами на нее находили приступы отчаяния и ожесточения, когда она не могла плакать и молиться. И тогда горький ропот готов был сорваться с ее уст. Я была жестока с нею в такие минуты и безжалостно говорила ей о том, что ее вера не стоила и ломаного гроша, если она теперь готова отречься от Бога и обвинить Его в несправедливости... Ведь она знала, что то, что случилось с нею, случилось и раньше с другими матерями, и, несмотря на это, считала Господа милостивым и справедливым, принимала и признавала жизнь... Тяжело было слушать, как она говорила:

— Я так молилась, я так просила — за что?!

Но я упорно не позволяла ей сойти с пути «логики»...

Через несколько дней Софья Евгеньевна пошла ко всенощной, потом говела, потом жила в монастыре, но думаю, что не «логика», а сердце помогло ей остаться на Божьем пути...

Одно из наиболее исчерпывающих душу ощущений горя — это оставшиеся вещи. В особенности платья, которые как бы составляли часть любимых существ. Софья Евгеньевна перебирала, перекладывала вещи девочек; приходилось приводить их в порядок — все было в хаосе после обыска, — надо было отобрать часть к продаже, часть оставить себе, а все было бесконечно дорого.

Разбирая, Софья Евгеньевна то и дело приговаривала:

— Это Люлино — Люлина блузка, а эта Тусина! — и слезы без конца лились из ее глаз на эти тряпочки...

Она отобрала себе «на память» две шляпы — одну Соничкину, одну Танину, она без конца целовала их, прижимая к груди, и шептала:

— Шапочки, шапочки, шапочки...

* * *

Впрочем, Софье Евгеньевне помогли в ее разборе и сортировке вещей. Мы вышли из Чека в субботу вечером, а в понедельник явились два субъекта: один очень черный и с совершенно разбойничьим лицом, а другой — тот самый «придверник», о котором я говорила, с лицом совершенно обыкновенным; и эта его «обыкновенность» была, быть может, неприятнее, чем явное разбойничество и преступность другого.

Они явились описывать вещи. Вещи, вещи, вещи! Это было самое главное, это был центральный интерес, фокус и ось этих людей. Вещи, вещи, вещи! Что в сравнении с ними жизни? Хорошо истреблять их в большом количестве хотя бы потому, что они, умирая, рожают вещи!

Началась сцена отбирания. Софье Евгеньевне оставили приблизительно треть вещей похуже. У меня ничего не было, и я могла кое-что принять на свой счет. Между прочим, к Софье Евгеньевне обратились с вопросом:

— Где ваши дочери?

Софья Евгеньевна беспомощно и растерянно взглянула в лицо спросившего своими покрасневшими от слез глазами, над которыми нельзя было не сжалиться, и полувопросительно ответила:

— Их убили?!

Тронул ли «разбойника» вид этих несчастных глаз, но он почему-то взбесился и закричал:

— Чего вы меня спрашиваете? Я откуда знаю!

Не знаю, почему по чекистским правилам следует скрывать казни, ими совершаемые? Но все они (те, что у нас дежурили) непременно спрашивали Софью Евгеньевну:

— Где ваши дочери? — и затем уклончиво отвечали на ее встречный вопрос. Некоторые даже говорили:

— Может быть, их перевели в тюрьму...

Софья Евгеньевна начала было строить некоторые надежды на этих недомолвках, но я не могла позволить себе их поддерживать.

Мы мало-помалу готовились к отъезду, т. е. уходу из квартиры. Для Софьи Евгеньевны была отыскана комната по соседству, а меня должен был отвезти и где-то

скрыть Д., который продолжал принимать во мне большое участие. Я виделась с ним в доме, где брала обеды и где жил прежде генерал. Хозяева квартиры были верные люди и очень расположенные к Софье Евгеньевне. И во мне они приняли теперь большое участие.

Я теперь вела «хозяйство», т. е. исполняла то, что делал генерал. Ходила по воду, приносила обед, покупала хлеб... При этом я понемногу выносила вещи Софьи Евгеньевны и оставляла их в «генеральской» квартире. Все ценности и деньги, которые уцелели (чекисты нашли не все — уцелели Леночкины золотые вещи в серебряном портсигаре, спрятанные в мешке с крупой, и деньги одного инженера, о котором речь впереди, засунутые в угольный ящик, у Софьи Евгеньевны в поясе ее платья остались зашитые там золотые монеты), все это я отнесла на хранение Д., принимая все меры предосторожности, чтобы меня не проследили.

Нас очень стесняла чекистская «засада». Но ко мне они, кажется, относились без особых подозрений. И я понемногу устраивала дела.

Наконец, настал назначенный для разлуки вечер. У Софьи Евгеньевны оставались только те вещи, которые она могла унести сама. Мне она подарила целое приданое из Таниных вещей и дала мешок, в который я уложила эти вещи, подушку и одеяло, которые она мне тоже подарила. Моя корзиночка — вот и весь багаж...

Разлука была тяжелая. Софья Евгеньевна с трудом отрывалась от меня, и мне было невыносимо жаль оставлять ее одинокой. Но оставаться здесь было невозможно — во-первых, гнали хозяйки, а во-вторых, мы были здесь как на блюдечке под надзором у Чека.

Мы простились. Я должна была выйти первой. Как только спустились сумерки, я бесшумно выскользнула из дверей квартиры, быстро сошла по лестнице, вышла из ворот и прошла в «генеральскую» квартиру. Через каких-нибудь минут десять к ней подъехал мой покровитель — «на лихаче»...

Мы сели и помчались...

Никакая слежка не могла бы угнаться за нами...

Конец

Там, в этой комнате с решетками на окнах, в этой импровизированной темнице, в моей душе произошел какой-то глубокий сдвиг.

Мне, так лихорадочно, так страстно ожидавшей и жаждавшей нашей победы и конца «большевизма», приходило нашей власти, стало тяжело и страшно думать об этом приходе

Я так ясно представила себе, что, какая бы власть ни пришла, все равно наполнятся эти комнаты новыми заключенными и, быть может, раздастся новое щелканье ключей и хлопанье дверьми.

И тогда передо мной стал вопрос: что бы я больше желала: чтобы дорогое для меня существо было брошено, беспомощное и связанное, за эту решетку или чтобы оно стояло у решетки с винтовкой в руках, сторожа другое себе подобное человеческое существо?

Ответ на этот вопрос в том еще бесконечно от нас отдаленном будущем коммунизма и Интернационала, о котором я пыталась намекнуть моему следователю. Ответ не в изменении строя, а в изменении строя людей. Внутрь нас есть⁴⁸⁵...

Леночка

Я ничего не сказала еще о Леночке и ее судьбе.

Леночку выпустили в тот же вечер, как и Софью Евгеньевну и меня, только немного позже. Я несколько раз виделась с нею в соборе, у распятия, где были назначены свидания. Ее миниатюрная фигурка, ее головка в черной барашковой шапочке на теперь остриженных светлых волосах выглядели как-то удивительно скромно и почему-то жалостно. Жутко было заглядывать в ее мистические глаза. Все с нами произошедшее произвело на нее глубокое впечатление. Она была бледна и очень ошеломлена. Виделись мы урывками.

Меня увез покровитель, и мои сообщения с внешним миром почти что прекратились. Таким образом, я не скоро узнала о судьбе Леночки.

К ней все время продолжали заходить чекисты, ожидая приезда ее матери, на которую, собственно, и по-

ступил донос. Ее обвиняли в содержании «явочной квартиры». Это было дело рук Волкова. Через две недели после освобождения Леночку опять взяли, приставали к ней, чтобы она выдала мать. Она наотрез отказала в этом. Да и матери действительно не было в Одессе.

Через три недели после второго ареста Леночку расстреляли.

Она только мелькнула в моем рассказе.

Пусть так будет и остается.

Не есть ли тайна лучший удел...

* * *

Меня уверяли, что через три дня после Леночки расстреляли и предателя Волкова. Верно ли это — не знаю...

У моря

Лихач подвез нас к той даче, в которой летом жил Д.

В этой усадьбе было несколько домов, но из них уцелели только два фронтных. Остальные были разрушены.

Главный из фронтных домов еще выглядел нарядно — сохранились украшавшие его статуи, красивые веранды и прочие атрибуты дач, обыкновенно называемых барскими...

Эту дачу арендовала в течение многих лет хозяйка одного из первоклассных пансионеров. На лето сюда съезжались люди, которые могли заплатить большие деньги, нуждаясь не в санатории, а в хорошем, питательном и обильном столе и полном отдыхе, вне всяких хозяйственных забот, на всем готовом. С времен революции все это пришло в разрушение, как и другие частные предприятия; но все же прошлое лето (1920) пансион функционировал, хотя, разумеется, в крайне сокращенных размерах. Кто мог теперь им пользоваться? Разве только «иностранцы»: грузины, евреи...

На зиму все пансионное дело прекратилось, но Д., пользуясь своим личным знакомством, упросил хозяйку взять меня как пансионерку, за которую он обещает платить. Сначала он не назвал моей фамилии, но вско-

ре мы решили открыть секрет, и тем не менее мне в приюте не отказали.

Мой «лорд-протектор», как я называла Д., позвонил у ворот. Появился мальчик лет тринадцати и отпер калитку. Он же понес мой мешок. Мы пошли не на главный ход, а через подвальный этаж, где были кухня и службы. Поднялись по довольно узкой лестнице и очутились в небольшой прихожей. Сюда на наш звонок высыпали все обитатели дома. Поздний звонок в Совдепии всегда возбуждает волнения и опасения. Мы несколько запоздали, и меня уже перестали ждать в этот вечер.

Я сразу всех не рассмотрела, так как была поражена моим чудесным перенесением в другое царство. Точно на ковре-самолете перелетела.

Меня приветствовала хорошенькая блондинка (от перекиси водорода) — дочь хозяйки дома, о которой мне говорил Д. как о главной устроительнице моего помещения. И действительно, Александра Ивановна оказалась существом горячим и отзывчивым и была для меня в это время тем камином, у которого можно всегда согреться. Хозяйка оказалась женщиной среднего роста, коренастой, с лицом очень окрашенным, как бы прижженным постоянной близостью к плите.

Александра Ивановна распахнула одностворчатую дверь, выходящую в прихожую, и сказала:

— Марья Георгиевна, вот ваша комната! (Здесь произошел курьез. Д. решил сначала, что выдаст мне грузинский паспорт на имя Марии Георгиевны Макеевой, но затем, узнав, что с делом о врангелевском заговоре окончательно покончено, решил прописать меня здесь по билету, выданному мне Чека, — таким образом, я опять превратилась в Екатерину Ивановну.)

Комната произвела на меня впечатление волшебного замка! Ковер на полу, постель под голубым одеялом с подушкой в безукоризненно белой наволочке, диванчик, обитый шелковой материей, такие же пуфы, трюмо в углу, хорошенький дамский письменный столик, картины на стенах... и это после моего летнего угла и ложа, после «паркета» Чека!

У меня кружилась голова, я не понимала, где я, кто я и что со мною!

Вообще все эти трансформации начали влиять на мою психику — иногда мне казалось, что я присуждена играть какую-то роль в ленте кино, где то и дело меняются обстановка, костюмы, положение действующих лиц... Какой-то без конца тянущийся сон с внезапными превращениями... Новые места, новые люди, новые отношения, другое содержание жизни, новые имена, и только во мне все то же содержание!

Мой «лорд-протектор» уехал, пообещав меня навещать и не забывать о Софье Евгеньевне, а меня повели к чайному столу. Феерия продолжалась. Эта большая комната, по всей вероятности, в былое время представляла собой гостиную, следы ее были явственны. Пальмы у окон, выходящих на террасу, пианино в углу. Но теперь сюда «вместилась» столовая. Буфет у одной из стен и в длину комнаты — обеденный стол, покрытый белой скатертью. Комната очень загромождена разной мебелью, и (уже явные признаки нарушения буржуазного этикета) у одной из стен — кровать.

Но все же все это показалось мне великолепием. Но особенно поразило меня то, что было на столе... Чего-чего здесь не было! Всевозможные колбасы домашнего приготовления (недавно закололи кабана), какие-то паштеты и закуски, повидло, масло, сыр и хлеб, главное — хлеб в изобилии, и даже белый!

Мне наложили полную тарелку всех этих яств, горячий чай с лимоном или молоком — по выбору...

Когда моя жизнь здесь наладилась, она проходила в следующем...

Утром около восьми меня окликнула Раиса Николаевна, спавшая в столовой.

Раиса Николаевна занимала в доме положение среднее между прислугой и приживалкой. У нее была взрослая дочь, где-то служившая, и за целый день работы она получала обед для этой дочери и для себя. Иногда в минуты благоволения хозяйки еще и ужин. Хлеб она должна была покупать для себя и дочери на свои средства.

Впрочем, эта последняя приносила иногда какой-нибудь мизерный паек.

В настоящее время Раиса Николаевна представляла собой женщину, сохранившую рыхлую полноту. Но ее несчастные руки были искалечены подагрой и ревматизмами, ноги, вынужденные целый день выносить ее довольно грузное тело при бесконечных стояниях над печкой и хождением вверх и вниз по лестнице, распухали и болели, но не это составляло главную муку ее положения. Она изо дня в день переживала всю унижительную горечь своего дилетантства и обливала горькими слезами тот насущный хлеб, который получала.

Одна из самых несносных вещей в жизни — это дилетантизм. На специалистов он должен действовать раздражающе. И вот здесь я присутствовала при трагическом конфликте специальности и дилетантизма.

Хозяйка этого дома — бывшая (и даже настоящая) содержательница пансиона — Екатерина Поликарповна представляла собой интересный женский характер. Это была, что называется, *une maîtresse femme*¹. Женщина с творческой жилкой, одаренная редкими среди русских женщин практическими способностями к хозяйству в большом масштабе. Она была центральным лицом и главой семьи. Ее муж, акцизный чиновник, был вполне «мужем царицы» — безвольный и скромный, он совершенно стушеввался перед своей женой, которая во все времена была творцом семейного благосостояния.

Характер у Екатерины Поликарповны был вполне самодержавный и даже деспотический. В своей области она была удивительно талантлива и, как все настоящие таланты, работоспособна. Она с гордостью говорила, что никогда не была барыней, «буржуйкой» и никогда не сидела сложа руки. Каждое дело и каждая работа у нее в руках, что называется, кипели и спорились. Она в несколько минут вымоет пол лучше всякой горничной, в кухне из каких-то пустяков приготовит такое блюдо, что ни одному повару и не снилось; на моих глазах в несколько

¹ жена — хозяйка дома (фр.).

дней она распоролла и сшила заново, перебрав весь мех, каракулевый сак своей дочери... Все, что она делала, было и являлось всегда первым сортом.

Но постоянный успех и удачи сделали ее избалованной и очень требовательной к окружающим. Она не могла понять, что то, что ей так легко, для других трудно. А при недостатках ее характера, вспыльчивого и раздражительного почти в патологической форме, она легко превращалась из создательницы своего очага в настоящий бич дома. Все перед ней трепетало и раболепствовало, но и все от нее бежало. Родная дочь, которую она временами баловала, в особенности в смысле комфорта и нарядов, невыносимо страдала от неровностей и деспотизма матери. Угодить ей было почти невозможно. И прислуге было трудно уживаться в ее доме. Каково же было тем несчастным барышням-дилетанткам, которым пришлось взяться за эти дилетантские упражнения из горькой нужды, просто от голода и бесприютности.

У Екатерины Поликарповны была какая-то стихийная доброта, порывами, под первым впечатлением. Она была чувствительна и легко плакала. Но у нее не хватало ни терпения, ни выдержки для того, чтобы довести до конца хоть одно из своих добрых дел. Она начинала раздражаться, придирается, не щадила самолюбия и превращала свое благодеяние в какую-то каторгу, из которой рвались все ее клиенты и клиентки этого времени, вместо благословений осыпая ее проклятиями.

В сравнении с всеобщей нищетой, царившей теперь повсюду и у всех, здесь были роскошь и богатство. Благодаря умению устраиваться и сохранившимся связям всякого добра оставалось здесь еще на многие годы. Но, разумеется, многое и пропало. Екатерину Поликарповну несколько раз обворовывали, и ее мнительность и подозрительность дошли теперь до маниакальности. Чуть какая-нибудь вещь, как говорится, «запропастится», в доме подымается ад. Она доходила до того, что подозревала в кражах даже родную дочь, и бедненькая Александра Ивановна, рыдая, повторяла:

— Мама, мама, клянусь тебе, я не крадала!

Все это были результаты того «культа вещей», который настал с тех пор, как вещи превратились в единственный капитал, которым человек еще кое-как мог располагать.

Раиса Николаевна ходила в причудливых одеяниях. На ней была смесь каких-то пестрых персидских лохмотий, остатки ее прежних роскошных капотов, а поверх всего этого кухонный передник из старого мешка, на голове какая-нибудь сбившаяся набок повязка, на лице следы пудры, по привычке к наведению красоты, на этих следах косметики — следы слез, ежеминутно проливаемых.

Я застала здесь еще чету родственников, тоже благодетельствованных, а теперь униженных и оскорбленных. Он был генералом, а теперь служил где-то бухгалтером и медленно угасал от старческого туберкулеза, она шила, варила, мыла полы, одним словом, проделывала все то, что в это время «превосходительствам» проделывать надлежало, плакала над сыном, затерявшимся где-то в белой армии, не то у Деникина, не то у Врангеля. Но эта пара выдержала здесь недолго и обособилась.

Но я начала рассказывать о моем дне.

Я вставала, дрожа от холода. Всю зиму моя комната оставалась нетопленной, так как печь безнадежно испортилась. Как только вставала, начиналась мука с руками, которые я умудрилась отморозить, когда на другой день после освобождения из Чека несла два ведра воды, — был сильный мороз, а мне удалось достать воду только за шесть-семь кварталов. Руки мои были все в ранах и болели невыносимо. Одеваясь, я прислушивалась: не раздастся ли уже брань в доме, не произошел ли уже очередной скандал? Перед выходом в столовую я крестилась. Если Екатерина Поликарповна бывала в хорошем настроении, я разговаривала с нею. Затем, после того как она спускалась в кухню, я болтала с Александрой Ивановной, которая часто мыла и убирала чайную посуду. Обыкновенно на моих коленях лежала хорошенькая белая кошечка с поразительными аквамаринными глазами — Мисюська. Она избирала меня своим ложем, так как

ОГЛАВЛЕНИЕ

Чемакин А. А. Екатерина Григорьевна Шульгина
и ее «Конспект» 5

Конспект моих политических переживаний (1903–1922)

Предисловие	31
Мой конспект	35
Димитрий Иванович Пихно	45
Великая война	111
Великая революция	155
Дети	186
Манифестация 30 апреля	200
Внепартийный блок русских избирателей	218
1918 Год (август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь...)	268
«Голос Киева»	268
Киевский национальный центр	277
«Азбука»	282
Monsieur Jean	285
Всероссийский национальный центр	294
Развязка	305
Предисловие	312
Василек	313
Как я потеряла Василечка	321
Как я искала и нашла Василечка	336

Подвиг орденцев	355
Подвиг Василечка	356
Терсит	357
Отъезд	359
1919 год	362
1920 год	430
Арест	490
Маразли, 40	509
Допрос	515
Преисподняя	520
Панна Ганна	524
День в Чека	526
Исчадие ада	530
Маруся-коммунистка	531
Соло-клоун	533
Катерина — жена разбойника	534
День в Чека (продолжение)	535
Мой второй допрос	538
..Тот молча идет умирать	539
После	546
Конец	555
Леночка	555
У моря	556
1921 год	572
В санатории	587
Раичка	590
У доктора	594
Примечания	603
Именной указатель	663

Шульгина Екатерина Григорьевна

**Конспект моих политических
переживаний
(1903–1922)**

Выпускающий редактор *Е. Д. Щепалова*
Корректор *О. Г. Соколова*
Художественное оформление *М. А. Миллер*
Верстка *С. В. Панфилов*

Фонд поддержки межмузейного коммуникационного пространства
и культурно-образовательных программ «Связь Эпох»
123376, Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 2, оф. 305
Редакционно-издательский отдел: +7 499 253 90 01
fondsvyazepoh@gmail.com

Подписано в печать 01.09.2019
Формат 125 × 200 мм
Усл. печ. л. 35,7
Тираж 1000 экз.

Заказ № 6623.

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая Типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская обл., г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Тел.: (499) 270 73 59
E-mail: sales@chpd.ru
www.chpd.ru

Отзывы на книгу можно присылать
на электронный адрес составителя:
chemakinanton@rambler.ru